

Оглавление

I. РАЗНОЕ

Советский человек	11
“Муму” Тургенева и Трифонова	15
“Пятое время года...”	17
Vlow-Up	25
Чарли	28
Памяти хора	35
Читатель и самоубийство	41
Гений одиночества	46
Бла-бла-бла о главном	50
Размер потери	54
“Он же гений...”	59
Ничей Пушкин	63
Одиночество	66
Благодарность	70
Из-за спины авторитета	75
Злой Бунин	81

II. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

“Безумных лет угасшее веселье...”	87
Принципиальный раблезианец	95
Памяти Льва Лосева	99
О Льве Лосеве	103
Памяти Григория Дашевского	116

Памяти Михаила Соротокина	120
Памяти Виктора Коваля	124
Заметки об Алексее Цветкове	127
Памяти В. О. Таргульяна	143
О Лёве	146
О Бахыте	150

III. В СТОРОНУ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

Чемоданное настроение	169
Писатель и километраж	175
Америка на уме	179
Попытка тоста	187
Повторение пройденного: пять дней в Гаване	192
“Есть остров на том океане...”	201
Экскурсия в Африку	219
Дальняя обитель	232
Путешествие	251
Горы	254
Потерянный рай	262
Дорога №1	265
В связи с Гайдном	271

IV. ОХОТА НА ЛАЙКИ

За газонокосилкой	281
“На стене маленького московского загса...”	283
За колкой дров	284
“Ты отдалась на дедовском диване...”	286
Опять об Толстого	288
Обыкновенная история	290
“Из старых поэтов — по-настоящему старых...”	292
О Слуцком	294
“К своим почти 70 годам...”	296

Первая любовь	297
Юзова слава	299
О хорошем	301
К международному дню дочери	302
Его превосходительство	304
Солженицын и др.	305
Гибель Онегина	309
Пять чувств на бумаге	311
Чистая лирика	313
Перлы	315

V. И СНОВА РАЗНОЕ

В поисках утраченного места	319
Инициация	325
Квартира, цыпленок, блондинка	329
Воспитание чувств	336
У нас в ЦДЛ	343
Фальшивый купон II	347
Слышимость	352
Общее место	358
27 секунд	365
Пуганица	369
Оммаж Евгению Евтушенко	374
Имена ботинок	380
Незамеченный триумф	385
Моя жизнь в искусстве	387
Главные песни	393
Комната смеха	398
Памятник	405
<i>Источники иллюстраций</i>	<i>411</i>

I РАЗНОЕ

Советский человек

Мы с дочерью ехали в гости в Тарусу: на электричке до Серпухова, а там — такси или маршрутка. Я соскучился по дочери и был болтлив, в частности взялся описывать ей образцового, по моим понятиям, советского человека. Наверняка ввернул, что на фоне бредовой наглядной агитации семидесятых — скажем, возгласа от лица нарисованного Ленина “Верным путем идете, товарищи!” или заведомой ахинеи вроде “Крепи ряды советских физкультурников!” — лозунг “Советский народ — новая историческая общность людей!” возражений и смеха, если вдуматься, не вызывал.

Впрочем, вряд ли дочь нуждается в моих разъяснениях, потому что она профессионально знает кино и ей нравится “Мой друг Иван Лапшин” — лучший, на мой вкус, и наиболее сочувственный памятник советскому человеку. Но пусть уж моя дорожная болтовня не пропадет вовсе, поэтому одной историей, кстати тоже дорожной, охотно поделюсь.

Лет пятнадцать назад я ехал в Саратов и оказался в одном купе с семьей — муж, жена и дочь-подросток. Люди будто из какого-нибудь симпатичного оте-

чественного кинофильма с моралью, что красота — не “сосуд, в котором пустота”, а “огонь, мерцающий в сосуде”. Попутчики — как на подбор коренастые, приветливые, не желающие слушать, что я сыт, и чуть ли не силой затолкавшие в меня весь обязательный пищевой ж/д набор: яйца вкрутую, холодную курятину, помидоры с брызгами и извинениями, малосольные огурцы и, само собой, пол-литра за знакомство с какой-нибудь всенепременной мужественной присказкой, лень припоминать.

Куря с главой семьи в тамбуре, я дал волю любопытству и узнал, что живут они по всем отечественным меркам припеваючи: квартира, машина с прицепом, садовый участок на Волге с рыбалкой и моторной лодкой. А возвращаются они домой из отпуска от родни в Белоруссии. А дело, повторяю, происходило довольно давно, когда из трех восточнославянских стран Россия была наиболее демократической: Украину обуревали политические страсти, на которые мы взирали свысока, как на неизбежный гражданский пубертат, а Белоруссия, казалось, намертво застигнута каким-то северокавказским штилем. Трудно было предположить, что какие-нибудь полтора-два последующих десятилетия разом перевернут ситуацию, как песочные часы с ног на голову.

— Ну и как там, в Белоруссии? — осторожно спросил я, предполагая, что ответ может быть вполне неожиданным. Таким он и оказался.

— Хорошо там, — с завистливым вздохом ответил мой попутчик. — Люди знают, для чего просыпаются утром.

Ну, здесь бы надо призвать на подмогу замелькавшие за грязным окном пригороды Саратова или призыв проводницы сдавать постельное белье — какой-то такой испытанный прием, которым сочинители обычно маскируют швы.

На перроне саратовского вокзала мы сердечно распрощались, скорей всего навсегда, и мои славные попутчики ушли со своим несметным багажом, ведомые отцом семейства, таким уверенным с виду, но внутренне озирающимся в поисках идеала. А я продолжил жить как жил — с прочерком в графе “сверхзадача”.

У людей такого, как мой попутчик, склада, нет иммунитета к утопии; но, с другой стороны, этот возвышенный взгляд на предназначение человека не может не вызывать уважения.

Тут ноздри дочери чуть дрогнули, и я догадался, что она давит зевоту, выслушивая одно и то же по многу раз, — и отдал должное ее такту.

Объявили Серпухов. Мы, вцепившись друг в друга, перевалили в толпе по обледенелым ступеням железнодорожный мост и изловчились последними втиснуться в маршрутку до Тарусы. Сидячих мест на нашу долю не хватило, поэтому мне стоя нельзя было разглядеть, где мы и долго ли еще ехать. Между тем позвонил Максим (мы ехали к Максиму Осипову, тарусянину, писателю и врачу) и спросил, проехали ли мы уже танк, перед которым поворот на Тарусу. Я ответил: “Максим, я стою, и мне не виден танк, — и рассмеялся. — Максим Танк”.

— Я скажу, когда свернем — внезапно откликнулся сидящий внизу у окна мужик моих примерно лет, с бледно-синей наколкой *ТОЛЯ* на фалангах правой руки. — А поэт он был как раз хороший, — буркнул он сердито и прочел, глядя в окно:

Упаси вас бог познать заботу —
 Об ушедшей юности тужить,
 Делать нелюбимую работу,
 С нелюбимой женщиною жить.

Я запоздало понял, что он читает Максима Танка, и спросил, чтобы хоть что-нибудь спросить: “А перевод авторский?”

Разумеется, сразу по прибытии я рассказал Осипову о пассажире-эрудите, правда, запутался в строчках, но Осипов тотчас нашел их в Гугле — их автором оказался Константин Ваншенкин, известный поэт, фронтовик, по слухам, хороший человек, автор слов знаменитой песни “Я люблю тебя, Жизнь”. Песня как песня, но ее финальный аккорд — “Я люблю тебя, Жизнь, / И надеюсь, что это взаимно!” — всегда казался мне некоторым перебором.

“Муму” Тургенева и Трифонова

Недавно прочел “Голубиную гибель” Юрия Трифонова. Разумеется, бросилось в глаза, наверняка не мне первому, вызывающее сходство этого рассказа с тургеневским “Муму”.

“Муму” в общих чертах все помнят со школы; вот краткое содержание “Голубиной гибели”.

Самое начало пятидесятых; серый, одинокий и размеренный быт супругов пенсионного возраста. Внезапно на карниз их комнаты в коммунальной квартире повадился прилетать сизарь. Понемногу супруги привыкли к нему, стали подкармливать, а муж, стесняясь собственной заботы (“так, скуки ради, чтоб руки занять”), сколотил домик, и голубь обзавелся семьей. Пустячная бытовая вольность четы пенсионеров не понравилась соседке по дому, она подключила отставника-общественника, загнанный в угол герой рассказа убивает голубей, спокойствие восстановлено, жизнь вошла в привычную колею.

Сходство двух историй налицо. У обоих авторов первопричина избавления от живности — блажь вздорных женщин, и там и там питомцев убивают не сразу — расправе предшествуют неудачные по-

пытки покончить дело по-хорошему, и тема рассказов одна и та же: рабство.

И все-таки на удивление похожие рассказы Тургенева и Трифонова очень разные.

При внешнем подобии сюжетов пафос двух повествований прямо противоположный. Герасим, глухонемой богатырского сложения, выходит из испытания несломленным, отдает, так сказать, кесарю кесарево, после чего САМОВОЛЬНО возвращается в родную деревню к некогда прерванному крестьянскому труду, заставляя барыню смириться со своей решимостью: в трагедийном итоге его взяла.

Самуил Лурье видел в знаменитой книге Тургенева большой исторический смысл: “Крепостное право морально устарело в момент: как только тираж «Записок охотника» был развезен по книжным магазинам. Понимать его как норму жизни сделалось неприлично. <... > Через девять лет пришлось вообще отменить...”

Спустя век с небольшим герой Трифонова в похожей ситуации, в отличие от тургеневского раба, морально раздавлен, и отныне всё, на что он способен, — с утра до вечера забивать козла во дворе, а в ненастье заниматься дома бессмыслицей: плетением маленьких корзиночек из цветного провода.

“Муму” побуждает к сопротивлению, от “Голубиной гибели” опускаются руки, рассказ знаменует полную победу общества над человеком. Из сегодняшнего дня глядя, не исключено, что и окончательную.

Может быть, к этому Трифонов и клонил, когда сочинял свою вариацию на хрестоматийную тему.

“Пятое время года...”

По поводу “Песенки о свободе”

В отличие от биологической жизни, рубеж, разделяющий поколения в культуре, пролегает не между “отцами” и “детьми”, а между старшими и младшими “братьями” с разницей в возрасте 12–15 лет.

Нередко такие отношения ревнивые и конфликтные, что вполне объяснимо: и эстетически, и житейски именно старшие братья занимают то место под солнцем, на которое претендует окрепшая молодость следующего поколения. Отцы-то как раз уже сходят на нет и мешают “младому племени” не так ощутимо. Более того: не редкость и вкусовой союз старых и малых против рутинного эстетического мейнстрима старших братьев.

С учетом сказанного возрастной перепад между Окуджавой (1924) и Бродским (1940) был, казалось бы, довольно неблагоприятным для творческой приязни — смежные поколения. Тем удивительней, что строптивый Бродский в 1965 году, в возрасте вполне задиристом, посвятил “старшему брату”, Окуджаве, почтительную стилизацию.

ПЕСЕНКА О СВОБОДЕ

Булату Окуджаве

Ах, свобода, ах, свобода.
Ты — пятое время года.
Ты — листик на ветке ели.
Ты — восьмой день недели.
Ах, свобода, ах, свобода.
У меня одна забота:
почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Даже если, как считал ученый,
ее делают из буквы черной,
не хватает нам бумаги белой.
Нет свободы, как ее ни делай.
Почему летает в небе птичка?
У нее, наверно, есть привычка.
Почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Даже если, как считал философ,
ее делают из нас, отбросов,
не хватает равенства и братства,
чтобы в камере одной собраться.
Почему не тонет в море рыбка?
Может быть, произошла ошибка?
Отчего, что птичке с рыбкой можно,
для простого человека сложно?
Ах, свобода, ах, свобода.
На тебя не наступает мода.
В чем гуляли мы и в чем сидели,
мы бы сняли и тебя надели.
Почему у дождевой у тучки
есть куда податься от могучей кучки?

Почему на свете нет завода,
 где бы делалась свобода?
 Ах, свобода, ах, свобода.
 У тебя своя погода.
 У тебя — капризный климат.
 Ты наступишь, но тебя не примут.

1965

Возможно, эта почтительность объясняется тем, что Окуджава по прихоти истории был старше Бродского не просто на шестнадцать лет, а на два недостижимых трагических опыта — террора и войны. И это переводило Окуджаву из разряда старшего “брата по музам” в отцовскую возрастную категорию.

А отца, капитана 3-го ранга Военно-морского флота СССР Александра Ивановича Бродского (1903–1984), и его поколение Бродский в зрелости стал чрезвычайно чтить, хотя в юности и мог, по воспоминаниям Льва Лосева, с пренебрежением охарактеризовать образ жизни своих домашних глаголом “вегетируют”.

Вот с каким почтением говорится об этом историческом поколении в эссе “Полторы комнаты” (это особенно уместно звучит сейчас!):

Мужчины того поколения всегда выбирали или — или. Своим детям, гораздо более преуспевшим в сделках с собственной совестью (временами на выгодных условиях), эти люди часто казались простаками. Как я уже говорил, они не очень-то прислушивались к себе. Мы, их дети, росли, точнее, растили себя сами, веря в запутанность мира, в значимость оттенков, обертонов, неуловимых тонкостей, в психологические аспекты всего на свете. Те-

перь, достигнув возраста, который уравнивает нас с ними, нагуляв ту же физическую массу и нося одежду их размера, мы видим, что вся штука сводится именно к принципу или — или, к да — нет. Нам потребовалась почти вся жизнь для того, чтобы усвоить то, что им, казалось, было известно с самого начала: что мир весьма дикое место и не заслуживает лучшего отношения. Что “да” и “нет” очень неплохо объедают, безо всякого остатка, все те сложности, которые мы обнаруживали и выстраивали с таким вкусом и за которые едва не заплатились силой воли.

С похожей сыновней интонацией произнесена и здравница, сказанная Иосифом Бродским в честь юбилея Булата Окуджавы:

Семьдесят лет в этом столетии прожить — это действительно немало, это действительно достижение. Мне неловко говорить какие-то лестные слова — это такое событие, 70-летие, и на таком расстоянии... Я испытываю смешанные чувства, но, прежде всего, чувство признательности этому человеку. В общем, я в сильной степени, как и, полагаю, все люди моего возраста или, по крайней мере, большая часть, выросла на его песнях. Это вошло в нашу органику, по крайней мере, в мою. Это замечательно прожитые семьдесят лет или, по крайней мере, их сознательная часть. У немногих людей в этом возрасте, рожденных в нашем отечестве, есть основания гордиться. У него есть.

Но на это биографическое хитросплетение накладывалось еще, как мне кажется, одно историко-лите-

ратурное обстоятельство, побуждающее к духовной солидарности.

Пусть эстетических точек соприкосновения между двумя авторами практически и нет, но “энергетическое родство нередко ближе формального”, по точному наблюдению Льва Рубинштейна.

Оба поэта родом из тоталитарного СССР, обоим тошен спертый воздух официальной советской литературы. Окуджава спасался от культурного кислородного голодания русской классикой, по преимуществу XIX столетия, а Бродский по большей части — иностранной поэзией, в оригинале и переводной.

Но вовсе игнорировать наличный советский литературный процесс выше авторских сил, да и не надо: в создании талантливых произведений искусства на равных участвуют поиски нового и отрицание ветхого, рутинного. Алексей Герман, например, охотно признал в интервью, что одним из побудительных мотивов создания фильма “Проверка на дорогах” было несогласие с показом войны официальным отечественным кинематографом.

В хрущёвскую оттепель половинчатый и нерешительный, по мнению Андрея Синявского, советский классицизм, именуемый социалистическим реализмом, стал сдавать позиции. Он был скверной пародией на европейский классицизм героической поры, возвратом “к самым истокам литературы, к простоте, еще не освященной вдохновением, и к нравоучительству, еще не лишенному пафоса”, как аттестовал соц-реализм Владимир Набоков.

Но, странное дело, освобождающаяся литература противопоставила этому литературному мутанту старые испытанные направления словесности — сентиментализм, романтизм, реализм. Эти эстетики, вер-